



Елена Гвозденко

# КОГДА ОТВЕРЗАЮТСЯ НЕБЕСА

Иллюстрации Александра Гвозденко

Елена Гвозденко

**Когда отверзаются  
небеса. Рассказы**

«ЛитРес: Самиздат»

2016

## **Гвозденко Е. В.**

Когда отверзаются небеса. Рассказы / Е. В. Гвозденко — «ЛитРес: Самиздат», 2016

Загадочная русская душа... Какие тайны скрывает наше прошлое? Какие верования, обычаи, традиции и теперь, через много поколений, живы среди нас и влияют на нас? Книга «Когда отверзаются небеса» Елены Гвозденко – это сборник рассказов, написанных по оригиналам материалов этнографического отделения библиотеки Русского географического общества. Писатель погружает нас в бытовую жизнь эпохи, когда общинность, вера в справедливость, наказуемость зла определяли весь житейский уклад. Народные «юридические» традиции, уроки «маркетинга» от офеней, секреты семейной жизни, необычные способы родовспоможения, выхаживания детей – об этом и многом другом вы узнаете, прочитав, не отрываясь, книгу, написанную стилизованным, но живым и красочным языком.

## Содержание

Русалкин наказ	7
Любостай	12
Фармазон	15
Похороны ведьмака	21
Бука	24
Хозяин кладбища	26
Любовник-волк	29
Конец ознакомительного фрагмента.	30

# Елена Гвозденко

## Когда отверзаются небеса

### Рассказы

*Иллюстрации Александра Гвозденко*

**Москва**

**Издательство**

**Российского союза писателей**

**2016**

Историю возникновения маркетинга специалисты относят к середине XIX века, правда, некоторые утверждают, что он возник в Японии в самом конце XVII века. История русских офеней началась в XV веке. Странствующие коробейники обладали уникальными навыками продвижения товара, сочетая торговое искусство с поистине сценическими талантами.

«Хороший товар сам себя продает, а вы попробуйте продать книжку бедному неграмотному крестьянину. Вот тогда вы – настоящие офени, – напутствовал старик новобранцев. – Умелый коробейник наперед покупателя знает, что ему требуется. Покупать не принуждайте, а внимательно смотрите, на что взор опустит, то и славить начинайте. Опять-таки, бабам требуется всё загадочное, таинственное, им гадания да разные любовные штучки предлагай. А пожилой бабе приличнее про жития святых рассказать. Пусть снох уму-разуму учат», – наставляет учеников герой рассказа «Как Емеля в офени ходил».

По Высочайшему повелению императора Николая I в 1845 году в России создаётся Русское географическое общество, главная цель которого «собрать и направить лучшие молодые силы России на всестороннее изучение родной земли». Жажда познания своего народа, его мировоззрений, самобытности, традиционного уклада, верований и обрядов, жажда понять загадочность его души породила всплеск интереса к этнографии.

Знаете ли, кого заставляли целовать пятку покойника? Как не просто выявить вора, но и навсегда отбить у него тягу к посягательству на чужое добро? Какие способы родовспоможения использовали наши предки? Кого называли хозяином кладбища? Что скрывал обряд похорон кукушки?

Таинственный, загадочный мир обычаев, традиций, верований, мир, к которому с таким интересом обращаемся мы сегодняшние в поисках самих себя.

Когда несколько лет назад я открыла для себя библиотеку Русского географического общества, я и подумать не могла, что знакомство с документами, написанными непрофессионально, скудным описательным языком, зачастую полуграмотными собирателями материала, так увлечёт меня, что подвигнет к созданию цикла рассказов, главная цель которых – популяризация забытой старины, таинственного мира, заселённого русалками, лесовыми, оборот-

нями, различными духами, сказочного мира чуда. Но в этом мире так сильна жажда справедливости этого чуда, неизбежности поругания зла. Мир отверзнутых небес.

А живая история, без сиюминутных оценочных суждений, без конъюнктурной шлифовки, помогала осознанию нашей идентичности, пониманию нас сегодняшних.

## Русалкин наказ

После Троицы на Руси начиналась русальная неделя. По преданию, в эту неделю русалки выходили из омутов, завивали кроны берёзок, делая себе качели, ловили и одурманивали добрых молодцев. В эту неделю купаться не ходили, боялись, что утащат к себе на дно.

В зелёные святки устраивали игрища, завершая весенний цикл.

Солнце клонилось к закату. Лёгкий прохладный ветерок сдувал духоту летнего дня. На дровах у битого овина сидели вдовец Тимоха и его зять Микола. Тимоха вдовствовал уже шестой год, и сестрица Анисья мечтала наконец женить бобыля. И вот теперь, под предлогом проведать крестника, она выманила братца на гулянье по поводу Троицы. За праздничным столом оказалась и «кума Василиса», крепкая молодая вдова. Анисья будто бы случайно усадила куму рядышком с братцем. Но Тимохе такое соседство пришлось не по нраву.

– Что ты в самом деле сватьей-то заделалась? – прошептал он сестрице, изловив её в сенцах. И не дождавшись ответа, хлопнул дверью. Микола нашёл его у овина.

– Слышь, поют-то как красиво. В деревню с гулянья возвращаются, – завёл он разговор.

– А что им не гулять? Самое их время, – отозвался родственник.

– Долго ты вдовствовать-то будешь? Не зорно тебе? Чай, деньги-то, извозом скопленные, на племяшей ушли? А мог бы и своих поднимать. Небось, брательник даже рад, всё в его семью идёт?

– Мог бы!– зло прикрикнул Тимоха. – Мог бы, кабы Акулина в прорубь не бросилась. И себя, и ребятёнка сгубила. Она ведь первенца нашего носила. Да меня вместе с собой в той проруби утопила, сердце моё.

– Ну-ну, остынь. Чего ж ты себя-то казнишь? Сказывали, поскользнулась. Уж сколько годков-то прошло, пора и новую жёнку брать.

– Много ты знаешь. Поскользнулась... Помнишь мордовочку Налку из Дубровки?

– Это какую же? И почему спрашиваешь?

– Давно я эту Налку приметил, она ещё в девках была. Караулю её, когда к обедне идёт, а сам-то уж венчанный. Акулинка моя и виду не подавала, тихая она, всё тенью по двору да дому ходила. Видно, казнила себя за то, что сразу понести не могла. Мы же почти пять лет прожили без детей-то. А я и не замечаю её, обвенчался и обвенчался, не щемило, не болело. А к Налке, поверишь ли, по ночам в Дубровку бегал. Плохо они с матушкой жили, плохо. Что бабы одни без мужика? Голодали дюже. Я ей гостинцы всё носил. С промысла извозничьего не Акулинке, а Налке подарки возил, о ней тосковал, о глазах её тёмных, о фигурке, как у мальчика. Она же среди мордвы страшненькой слыла. У них ведь первые красавицы те, у которых ноги толсты. А Налка, как пташка мелкая. Да и с чего ей бока нагуливать?

– Ишь ты, не знал я, – Микола пришёлкнул языком и полез за кисетом. – А как же тесть-то мой, как Поликарп Лексеич?

– Судишь, – ожог взглядом Тимоха. – А ты не суди, не суди. Вон вы с Анисьей живёте справно, полон дом ребятишек. Откуда ты тоску мою понять-то можешь? Я шестой годок спать не могу, шестой годок. А батька... Да что батька. Пригрозил я ему тогда отделением, он и замолчал.

– А что тогда случилось, ну когда Акулинка... – Микола не договорил.

– Что тогда? А тогда я бар катал, так вот в одном постоялом дворе услышал, что Налку за мальчика одного сосватали. И знаешь, говорили об этом так, что дух у меня занялся. Смеялись скабрёзно. Не помню, как довёз седока своего, не помню, как в Дубровке очутился, как ввалился медведем в избёнку Налки. Помню только, что сидела она за работой, а увидев меня, вскочила, испугалась. Плакала, говорила, что сватовство это для неё подарком должно быть, что семья Никая – семья богатая. Я тогда всё понять не мог, как у них зрелую девицу за ребёнка

отдают? Спросить пытался, а она мне с каким-то смешком, мол, что за беда, вырастет когда-нибудь. А пока расти будет, мы с тобой ещё наmilуемся. Оторопел я от слов таких, схватил её в охапку...

– Неужто?

– Да помутилось всё, только вижу свою Налку в объятиях другого. Но в тот раз я понял, что пташечка моя не мне одному песенки свои пела. Развернулся я и опять на промысел уехал. А молва уже и до нашего дома добралась – видели, как к Налке подъезжал. Наутро Акулинка стирку затеяла. Матушка рассказывала, что тихая она в то утро была сильнее обычного, будто не в себе. И так же тихо собралась к речке бельё полоскать.

– Ну чего ты теперь? Уж столько лет минуло.

– Не видел я Акулинки, не разглядел. В постель одну ложились, а не чуял. Вот сейчас бы встала, кажется, всё бы для неё сделал. Я в тот раз Налке полушалок привёз. Не даёт покоя мне тот полушалок, все цветы алые на нём помню, всё представляю, как Акулинушка похорошела бы, если бы на голову свою надела.

– А что Налка? Как она теперь?

– Я особо и не спрашивал. Младенчик-муж теперь вырос, грехи прикрыл. Но пока ребёнком был, Налка уже двух детишек прижила. Вот такие дела. Нет мне жизни без Акулинушки, не могу я другую жизнь тоской своей поганить. Ты уж объясни Анисье, да только всё-то не рассказывай.

– Постараюсь, братишка, да только зря ты так, может, оно и наладилось бы.

– Это вряд ли, – Тимоха решительно поднялся и засобирался домой.

– Куда же? Стемнело, а тебе пять вёрст идти. Ложись где хочешь. Хочешь – в избе, а хочешь – на сеновале.

– Нет, не уговаривай. Пойду я.

– Подожди, запрягу, отвезу, ночи-то русалочки.

– Будет тебе бабьи сказки-то пересказывать, – усмехнулся Тимоха, затворяя за собой калитку.

За околицей тишь, парни да девки по улице деревенской разбрелись, русалок страшатся, лишь ветерок травой шуршит, запахи цветочные разносит. И от запахов тех пряных кружилась голова у Тимохи. Вспоминал, как в хороводах с Акулинушкой ходили, как смотрела она на него глазками ясными, будто вода родниковая. Аккурат на Троицу тогда и сговорились, по примете – к жизни долгой и счастливой. Не сбылась примета. На Акулинку батька указал – уж больно по нраву была им девушка. А Тимоха и спорить не стал, не знал он про любовь, не верил, думал, росказни всё, вроде сказок. Что за любовь? Мамке вон помощница нужна, да и детки опять-таки, детки должны быть. Недельку и похороводились, а потом сватов заслали. А уж к Покрову женой ввёл он её в дом свой. Ввёл, да забыл. И вот теперь все шесть лет по крупичам собирал. Вспомнил, что пахло от Акулинушки чем-то пряным, будто чабрец и полынь в руке перетереть сразу. Вспомнил, что любила она напевать тихо, так, чтобы никто не слышал. А песенки всё печальные. Вспомнил, как встречала его в сенцах, торопясь сообщить о том, что ребёночка под сердцем носит. Как прижалась тогда к его груди и застыла, будто боясь, что радость с ней не разделит, боялась в глаза мужа глянуть.

Брёл Тимоха к темнеющему впереди леску, а сам думал: хорошо бы в такую ночь Акулинушку русалкой встретить. Ведь говорят же люди добрые, что утопленницы непременно на Русалочью неделю из воды выходят да на берёзках качаются. Акулинушка любила берёзки. Эх, кабы встретить, он и сопротивляться бы не стал, пусть забирает к себе, на дно, без неё всё одно не жить.

Вдруг услышал Тимоха, догоняет кто? Обернулся – пуста дорожка. Как к леску направился, снова шаги, всё ближе, ближе. Повернулся, видит: бабонька в холст замотана. Остановилась, не приближается, но будто манит за собой. «Акулина», – позвал Тимоха, но незнакомка

молчит, лишь рукою манит. Повернулся он и пошагал за ней прямо по полю. Шёл, ног под собой не чуя, а бабонька впереди, не идёт – плывет. И от тела лунный свет отражается. Так дошли до берёзки, что на меже выросла. Хотел было Тимоха схватить свою попутчицу, а она лёгкой птицей из-под руки выпорхнула, да в кроне спряталась.

– Акулина, – вновь позвал Тимоха, – ты ли это?

А из кроны слышится лишь пение:

У моей подруженьки косоньки зелёные,

У моей подруженьки белый сарафан.

Некому подруженьке расплести те косоньки,

Некому подруженьку в хоровод вести, – песенка, которую его Акулинушка напевала.



Не выдержал Тимоха, на колени упал, плачет. А Акулинушка тихо с берёзки спрыгнула, рукой холодной по голове поглаживает, приговаривая:

– Холодно мне, любимый мой, холодно. Слезы твои студят. В одну только ночь суждено нам свидеться, не плачь, а слушай. Не сама я тогда в прорубь прыгнула. Плакала всю ночь, от слёз краёв не видела. Не казни себя. Смотри, что у меня есть, – русалочка развернула полушалок, тот самый, что Тимоха Налке привёз, да жалел позже, что не жене. Тот самый, с алыми цветами по голубому полю. – Украла я у неё. Знаю, что моя это вещь.

– Акулинушка, лю́бая...

– Молчи, молчи, всё знаю, знаю, что полюбил меня. Жаль только, после. Мало у нас времечка. Ты слушай, что скажу. Негоже от судьбы своей бегать, слёзами меня студить. Вот тебе зарок мой. По зиме, как поедешь с извозом, судьбу свою встретишь, я знак подам.

– А как же ты? Как ребёнок наш?

– О ребёнке не спрашивай, сам потом поймёшь. Ну прощай, любимый, не держу я зла, – промолвила и растаяла без следа, будто и не было её, будто только снилась.

С первым морозцем отправился Тимоха к знакомому хозяину, что снабжал его седоками за небольшое вознаграждение. На ладной тройке с бубенцами, в новом кафтане да барашковой шапке мчал подальше от невесёлых дум, подальше из опостылевшего дома. На ярмарке всегда работа ждёт – купчишки, управляющие, подьячие. Не вёз – летел Тимоха. Мелькали перелески, пустынные поля, мелькали деревни и города. А Тимохе только в радость, дорога тоску гасила, сердце жизнью наполняла.

На постоялом дворе за большим самоваром раскрасневшиеся с морозу сидели обозники. Встречались и знакомые лица. Тимоха поздоровался, присел рядом. Разомлел от чая, расслабился, стал прислушиваться к разговорам. Говорили всё больше о лошадях, о лихих людях, что подстерегают извозчиков на глухих дорогах, о ценах на овёс, о многолюдности ярмарки.

В разговоре кто-то упомянул, что хромого Митьку ещё по весне прирезали на почтовом тракте вместе с купчиком, которого вёз. Этого Митьку знали многие. Семья его выгорела, когда он был ещё мальцом. Кто-то из родителей успел выбросить ребёнка из горящей избы. Жизнь спасли, но он так и остался хромым. Он рано прибил к извозчикам, работал сначала на хозяина, а потом и свой экипаж завёл. В зрелых годах за Митьку сосватали такую же сиротку. Семья жила бедно, перебиваясь с кваса на воду.

Кто-то из обозников предложил вспоможение вдове собрать. Сговорились, пустили шапку по кругу. Потом перечли да поручили Тимохе отвезти. Он – такой же вдовый, ему сподручней, а им не с руки денёчки золотые терять. Дома детки малые гостинцев ждут.

Тимоха спорить не стал – с Митькой они приятельствовали, он часто о своей Настюшке говорил. Накупил гостинцев да откладывать не стал, отправился в село, где Митька проживал. Голова горела, будто вся его бывшая печаль-тоска с новой силой вспыхнула. Но всё больше не о себе мысли были, а о той, к которой ехал – как ей одной живётся, как она пламень в сердце гасит?

Ветхую избышку со щербатой соломенной крышей угадал сразу – уж больно убогонькое жилище. Казалось, дунь ветер посильнее, и разметёт, разнесёт по свету, и следа не останется. Вместо забора – обломанный плетень, в низеньких окошках еле теплится свет. Постоял за дверью, не решаясь войти. Сердце в груди так и прыгало. Выругался за собственную нерешительность, услышал за дверью лёгкие шаги в ответ на свой стук. Женщина, увидев незнакомца, ойкнула, бросилась к лавке, накинула на плечи полушалок. Тимоха обомлел. Тот самый, с алыми цветами по голубому полю. Встретился глазами с хозяйкой. Батюшки-святы, акулинины родники в них бьются.

– Я тут помощь привёз. Извозчики собрали, – Тимоха протянул свёрток и мешок с гостинцами.

– Благодарствую, – Настасья поклонилась в пояс.

– Как справляетесь без кормильца-то?

– Потихоньку. Мальца вон жаль, всё по бате тоскует.

– Мальца? Разве у Митька дитё осталось? Не знал, – Тимоха не сразу заметил мальчишечку в ветхой рубашонке, прячущегося за занавесом. – Который годок ему минул?

– Да уж пятый.

– Пятый?

В голове Тимохи прозвучал голос русалки: «О ребёнке не спрашивай, сам потом поймёшь».

– Пятый, – повторил он. – Иди сюда, не бойся.

Малыш робко подошёл к Тимохе, протянул тонкие ручки и тихо не то спросил, не то позвал: «Батя»...

## Любостай

По народному преданию, Любостай – слуга сатаны, который уводит души скорбящих. Он влетает в дом огненным шаром, принимает обличье потерянного супруга и искушает дьявольскими ласками. Если жертва не излечивается от тоски, то через несколько месяцев Любостай уносит её душу в ад.

Городила вьюга заносы, взбивала сугробы, стелила постель, щедро сыпала новых перьев на ложе – не брачное – смертное. Яблонька под окном – баловство – оголилась, сдул с неё ветер стылый одежду зимнюю. Почернела яблонька, сиротка неприкаянная. Мело, мело, будто хотело все следочки Ванечкины стереть, дух его с родного надворья выветрить. А двор-то всем дворам двор, загляденье, право слово – всё ладненько, крепко, твёрдой рукой сбито. Студёным пологом укрывало постройки хозяйские, поленницу, аккуратно сложенную, стога сена для коровушки. И казалось Катерине, что не стало света белого, кругом один лишь снег полотном савана. Чудилось, что не в избе она тёмной, а в сугробе. Холодит душа, замерзает, замерзает.

Дверь скрипнула, и в горницу вошли, вплыли светлым облаком посетители.

– Ой, беда! Печь не топлена, малыцы голодные на лавке воробушками. Горюешь всё. Аль не совестно? – Федора Наумовна, едва стряхнув снег с накинутого на плечи тулупа, бросилась к внукам. Пятилетняя Настёнушка и трёхлетний Микитка, завидев бабушку, ожили, захныкали.

– Который день всё у окна сидишь, Катерина? Ивана не вернёшь, – продолжала мать поучать дочь, раскладывая на столе нехитрую снедь. – Теперь деткам своим и за мать, и за батьку должна быть, а ты совсем хозяйство забросила. Хорошо, соседская Грунька прибежала, сказала. Мы с отцом сразу лошадку запрягли да к вам отправились.

– И то. От соседей стыдно, скотинку вашу который день люди чужие обихаживают, – подал голос Дементий Степаныч. Пока жена хлопотала у стола да обтирала ребятишек, он успел наносить дров и затопить печь, а теперь по-хозяйски осматривал входную дверь, что-то прибывая, прилаживая. – Ишь, избу выстудила. Детей поморозишь.

Катерина как сидела у темнеющего окна, так и осталась сидеть – ноги словно отнялись. Она смотрела сухими глазами на родительские хлопоты, смотрела, как одевают и уводят её детей, слышала, что отец посулил прислать назавтра в помощь младшего неженатого брата и молчала. Ну и правильно, пусть едут, нельзя детишкам в могиле, под одним с ней похоронным пологом.

А ведь совсем недавно счастливее Катерины никого на свете не было. С тех пор, как встретила своего Ванюшку, ни на день глаза не гасли. И чем приглянулась-то, до сих пор понять не может. Сколько себя помнила, всё в работе – одиннадцать детушек у родителей, а она дочь старшая. С раннего утра до поздней ноченьки хлопотала по дому. Бедно жили, голодно, детей на квасе поднимали. Недосуг было Катерине по хороводам бегать, на вечёрках с девушками песни петь да на святках женихов загадывать. И не думала о женихах-то, а тут сваты, да от кого. От Ваньки, при встрече с которым деревенские девушки стыдливо глазки опускали. Что и говорить, видный жених, ладный, десять вершков росту<sup>1</sup>, а глаза добрые-добрые, выдают улыбку, что в усах прятал. Родители и не чаяли такого жениха для своей дочери, не готовили её в невесты, не рядили в одежды праздничные, не до того было. Ванечка всё сам справил, две деревни три дня пировали. Да и то, хозяйство у жениха крепкое, от отца досталось – отец-то уж лет пять тому занедужил и помер, оставив жену и сына.

---

<sup>1</sup> Вершок – старинная мера длины, равная ширине двух пальцев (указательного и среднего), 4,44 см. Интересно, что счёт вёлся после двух аршин обязательных для взрослого человека. В аршине 71 см. Когда говорили, что рост десять вершков, то это означало, что рост составлял два аршина и десять вершков. Таким образом разговорное о росте в 10 вершков означало, что рост составлял 187 см.

Первые годы в замужестве чудились Катерине сказкой. Гостинцы, наряды – не скупился Ванечка, разодел, как купчиху какую. Бабонька раздобрела, округлилась, а вскоре и понесла. Прасковья Федоровна, свекровушка, только радовалась, на молодых гляючи. Но недолго с ними прожила – дождалась Настюшку, на руках подержала и дух испустила.

И с тех пор будто тоска какая закралась в сердце молодухи, всё точит, не даёт покою. Чудится ей, что охладел к ней Ванечка, что сторонится её, бежит из дому. Стала она примечать, сплетни разные слушать, с соседками судачить, как мужа с изменницей подловить. Капризной стала, сварливой, в делах хозяйских былой прыти нет. А хозяйство-то большое, знай, поворачивайся. Тут ещё и Микитка народился – детки малые догляд требуют.

В ту зиму Иван в первый раз отправился в город, прибился к деревенским извозчикам, стал обозником.

Тяжело пришлось Катерине, хоть и взяла в помощницы соседскую Груньку, но без мужика и зимой еле управляешься. Пока скотинку обиходишь, пока дела бабские сделаешь, день и прошёл, он зимой коротёхонек. А ночью на стылой постели чудилось бабоньке дыхание милого. Вспоминала руки его сильные, губы жадные, аж дыхание перехватывало, горячий ком в животе перекатывался. И тревога уснуть не давала: вдруг он там другую нашёл, городскую, сладкую.

На масленицу приехал Иванушка с гостинцами-подарками, с барышами, что в сундук спрятал. В первую же ночь сжал Катеринушку, духом своим укутал да так и не отпускал до утра. Счастливой встречала бабонька солнце рассветное, счастливой и год весь жила. Только к зиме стал опять собираться Ванечка на извоз. Она его отговаривала как могла, да только решил мужик в купцы выбиваться, знать насмотрелся в городе на иную жизнь. Обещал на блины приехать, но не приехал, привезли.

Как случилось, что отбился он от обоза, что повёз седока, а затем возвращался затемно да попал в полынью, никто не знает. Только выловили Ванечку уже застывшего. В той полынье и душу свою утопила, нет у неё души теперь.

Труден вдовий век, слёзами смочен. Эх, Ваня, Ваня, как ей одной-то, как в постель ложиться, ту самую, в которой ты обнимал, прижимал к груди своей крепкой? Не слушают её ноженьки, да и не нужны они ей – не коснётся рука твоя коленочек, не придавит властно. Зачем, Ванечка, зачем ты не послушал? Что тебе в капитале том, разве в нём счастье? И зачем ты выбрал-то Катеринушку, раз так рано оставил, бросил с изменницей лютой – Смертушкой?

Соседская Грунька зашла в сени за подойником, а за дверью шум, грохот. Влетела в избу, в полумраке и не разобрать – Катерина по полу катается, вокруг горшки битые, вспоротая перина сугробом посреди горницы. Беда.

\* \* \*

Утро выдалось ясным, морозным, будто и не лютовала накануне буря, не топила деревню в снежной каше. У колодца бабы о своих делах толковали, про отёлы, про скорые весенние хлопоты. Скрипел ворот, цепочка вторила, не спешили бабоньки к делам утренним. Выскочила Грунька за ворота и бегом припустилась, только валенки батькины в сугробах вязли да вёдра стылые по ногам били. Подскочила растрёпой к колодцу, вытянула мордочку и прошептала: «К Катьке-то Любостай шастает».

Разом притихли бабоньки, смотрят на девку с недоверием: Грунька она такая, и соврёт – недорого возьмёт. А девчонка продолжает, торопится:

– Чай, своими глазами видела. С тех пор, как деток родичи увезли, с тех самых пор и шастает. И то – враз успокоилась, меня гонит, мол, не нуждаюсь больше. Сама ходит скотинку обихаживать. И веселая, не поверите, всё песни поёт. А намедни решила я доглядеть. До темна

по улице бродила, вижу: шар огненный по небу летит и аккурат к избе Катькиной. Не успела я хорошенько рассмотреть, а он нырк в трубу! Вот так-то.

Зашушукались бабы.

– Не след те, Грунька, за такими вещами следить, девка ещё, рано, – не упустила случая пожурить старая Акимовна.

– Да что я? Я, что ли, беса приваживаю? Ведь пропадёт баба, жа-а-алко... – из глаз девчонки заструились слёзы.

– Это верное дело – пропадёт. Любостай, он пока душу не вынет да в ад свой не стащит, не успокоится.

– Что судить-рядить, может, Груньке померещилось. Чай, о парнях всё думает, вот Любостаев и видит, – бабы рассмеялись, а Грунька обиделась, надула губы и носом зашмыгала.

– Ладно, ладно тебе сырость-то разводите, – похлопала девушку по плечу Акимовна. – Я вот что думаю, негоже нам разговоры пустые вести. У бабы горе, а мы тут языки чешем. Давайте-ка лучше приглядим за ней. Вот ты, Матрёна, – обратилась старуха к высокой худощавой молодке, молча стоявшей в сторонке, – вы ведь с Катькой подружками были. Наведайся к ней, обсмотришься, что и как. Да и мы в гости сходим, Божье дело – в трудную минуту подержать.

– Чай, не примет меня Катька-то, – подала голос Матрёна, – всё дуется, выдумала допрежь, что с Ванькой её миловались.

– А вы не миловались?

– Буде! Что ты глупость-то городишь! У меня свой мужик есть. А Катька она ведь всех ревностью извела. Разве что Акимовна не пострадала – слишком стара.

– Что уж теперь. Ванька хороший мужик был, крепкий, на чужих баб и не глядел.

\* \* \*

«Смеркается, скоро уж теперь. Ишь, почувствовали, стервятницы, налетели. Сначала Матрёнка эта, оглобля в платке, прибежала. Разговоры затевает, а сама на меня смотрит, будто грамотку прочесть хочет. Про детишек вспомнила, а что мне детишки без мил дружка? Чай, не оставят без присмотра. А Матрёнка и при жизни на Ванечку глаз косила и теперь хочет разлучить. Только выпроводила, как Акимовна старая через порог переваливается. Усмотрела, что божница занавесочками прикрыта, скривила рот свой, но смолчала. Села на лавку, жалеть принялась. Что мне её жалость?.. Только жарче огонь в груди разжигает. Не чаяла, как уйдёт. Скоро-скоро мой Ванечка прибудет, обнимет, прижмёт сокол ясный. Знаю, знаю, что не Ваня то мой, лишь обличие его. Разве бабу обманешь? Не искушен в ласках мужик-то был, а теперь... Как подумаю, так и твердеют груди, руки плетью обвисают, ноги не держат. Ох, томно. Не жила я сладко до сей поры, не знала, что бывает так-то. В детстве никто меня не холил, не до того. Лишь Ванечка. Да только Ванечка и есть мой погубитель, не любил меня, раз так предал, одну одинёшеньку оставил. А этот, другой Ванюша, он не предаст, не дам, с ним уйду в ночь».

Утром Грунька нашла Катерину уж застывшей.

## Фармазон

В материалах, собранных этнографами, оказалась легенда о Фармазоне, одном из двух слуг сатаны. Именно он выкупает души смертных, именно он – главный купец сил тьмы.

На сероватой от старой побелки стене, аккуратно над столом, за которым кряхтя и причмокивая просиживают часы передышки извозчики, потягивая стакан за стаканом кипящий чай, вдруг проявилось сине-зелёное пятно. Пятно это разрасталось прямо на глазах, принимая очертания довольно страшного лица, будто кто невидимый подливал зелёную муть на глинобитную стену. Нависшие тяжёлые веки полными кулями закрывали глаза, толстый у основания нос заканчивался каким-то неприличным пяточком, а налитые огромные губы беспрестанно шевелились, будто силясь что-то сказать. Лицо становилось выпуклым, вытягиваясь, вырываясь из стены. Чуть ниже показались длинные все в фиолетовых жилах кисти рук с шершавыми кривыми пальцами, с жёлтыми крючковатыми ногтями. Они потянулись прямо к Гришкиному горлу. Послышался какой-то свист, и из тестообразных губ наконец вырвалось: «Гришка, Гри-и-и-ш-ш-ш-ка...»

– Гришка, сукин сын, что за наказание, где ты прохлаждаешься? – от голоса Терентия Кузьмича Гришка разом проснулся, подскочил с укрытого старым тулупом сундука, притаившегося под лестницей.

– Тут я, тятенька, – крикнул он, пробегая горницу, ту самую, в которой стоял стол для извозчиков. Уже на бегу скосил глаза на стену – слава богу, никакого пятна.

У постоялого двора под навесом устраивали старинный тарантас местной помещицы Ольги Порфирьевны. Дроги этой повозки были столь длинны, что никак не желали помещаться под укрытием. Васька, работник Терентия Кузьмича, укутывал дерюжкой выпирающую часть.

– Душенька Ольга Порфирьевна, с богомолья возвращаетесь? Пожалуйста, пожалуйста в светёлочку, для вас содержим-с, – хозяин склонился в почтительном поклоне. Пожилая дородная помещица, укутанная по самые глаза бесчисленными шальями, тяжело поднималась на крыльцо.

– Надеялись до темна успеть, а глядишь, непогода-то, – сокрушалась помещица, оглядывая узелки и корзинки, которые кучей стояли у самых дверей. Заметив озабоченный взгляд гостя, дворник<sup>2</sup> принялся поторапливать работников:

– Что вы как неживые! Несите, несите кладь наверх, в покои, что для Ольги Порфирьевны приготовлены. Гришка, подсоби.

Схватив котомки, Гришка бросился в горницу, столкнувшись в дверях с Софушкой, воспитанницей барыни, которая сопровождала старую помещицу во всех её поездках. Девушка смущённо опустила взгляд. Да что девушка, Гришка и сам засмутился, предательские красные пятна расползлись по лицу. Уж больно девица хороша: ладный стан, глаза, как омуты, ресницы, что щетина на щётке, которой Васька лошадей причесывает. Эх, кабы свободно сердечко было, кабы не жила в нем Федосеюшка. Да и то, какая Софьюшка пара ему, она, поди, из благородных, любимица старой помещицы, чай, другого жениха ей сыщут, не сына дворника. Но на миг молодой парень застыл совсем близко, вдыхая аромат луговых трав и сдобной выпечки, что исходил от девушки. Лишь окрик отца добавил прыти обоим.

Терентий Кузьмич собрал всех своих насельцев в людской: сына Гришку, прыткого Ваську и неповоротливого Мишку, работников постоялого двора, кухарку Акимовну да кривоглазую девку Матрёну, справляющую остальную бабью работу.

– Хозяйство наше сильно запущено, – начал он, прокашлявшись, и по тому, что замолкал надолго, что не рвал горло криком, а говорил тихо, будто виновато, чувствовалось, что хочет

---

<sup>2</sup> Дворник – хозяин постоялого двора (разговорное).

сообщить что-то важное, – Хозяйку я уж годков семь как схоронил, вы знаете. А без бабы какая управа? Надумал я новую жену себе сосватать, будет кому за вами углядывать. Гришку-то, наследничка моего, отошлю на свои хлеба, с ним отдельно побеседуем. Решил я самолично уведомить, чтобы никаких шушуканий за спиной – дюже я сплетен не люблю.

Старая Акимовна одобрительно покачивала головой, а кривая Матрёна прямо спросила:

– Присмотрел уж кого, кормилец?

– Не твоего ума дела, тебя не спрошусь. Давай-ка лучше помещице угождай, не часто к нам такие гости ездывают.

– А что я? Я только спросила, батюшка.

– Кривоглазый мерин твой батюшка, – хохотнул Терентий Кузьмич, ущипнув за то место, за которое принято щипать молодых сочных девок.

– Что уставился, поди умеешь с бабами-то обходиться. Пойдем, потолковать надо, – кивнул хозяин сыну на дверь в маленькую каморку. Эта каморка, самая отдалённая комната постоянного двора, служила дворнику и спальней, и кабинетом одновременно. Китайские ширмы, выкупленные по случаю у проезжего купца, скрывали кровать с коваными спинками, застеленную ситцевым одеялом, рукоделием Матрёны. Вдоль стен громоздились огромные сундуки, ключи от которых хозяин постоянно носил с собой, не доверяя даже сыну.

– Решил я, Гришка, – степенно начал Терентий Кузьмич, усаживаясь за дубовый стол, – отделить тебя. Сам посуди, негоже тебе рядом с моей молодой женой находиться. А там, кто знает, может, ещё детки пойдут, на всё воля Божья. Но и тебя не обижу. Что нахохлился?

– Так, тятенька, я вам волю свою говаривал, ждал, что сватов к Федосеюшке зашлёте.

– К Федосеюшке? Забудь про Федосеюшку, у нас уже с батькой её обговорено, на Покров обвенчаемся с ней.

– Да как же? Я же...

– Как же, как же, – передразнил сына. – А вот так же. По твоему слову стал я к ней присматриваться, да уж больно девка справная, сладкая, что твой мёд.

– Батенька, мне ли такие речи слышать, вам ли сказывать?

– Мели, Емеля! Что причитаешь, будто старая Лукерья? Дурная кровь. Связался с ведьминым отродьем.

– Негоже, батюшка, память матушкину поганить! Побойтесь Бога.

– Али не прав? Старуха до самой смерти всё шептала, травы сушила да сказки сказывала, дочка её к работе ленивая была, всё по лесам шаталась. Да и дошталась. А ты подумал, каково мне было одному двор содержать, тебя растить?

– Так в чем вина матушкина? В том, что от работы да побоев в могилу раньше времени легла?

– Не перечь отцу! На неделе отправляйся в соседний уезд. Слышал я, что Никишка двор свой продает, обсмотри, что и как. Коль по сердцу придётся, будешь сам хозяин. А дома я тебя не потерплю.

– Батенька, да ведь у нас с Федосеюшкой любовь.

– Любовь. Что ты о любви знаешь-то? Чай, прижал её где в тёмном углу, вот и вся любовь.

Али спортить успел? – глаза Терентия Кузьмича налились багрянцем.

– Не такая она. Да я и глянуть в её сторону боялся. Эх...

– Ну и хорошо. Езжай, говорю, чтобы и духа твоего не было.

Осень в лесу, отрада сердцу ясному, щедро сыпала медью да золотом, серебром паутинки одаривала. Но не замечал Гришка красоты осенней, несли его ноги молодые дальше и дальше в самую глубь, лишь лоскутки от сюртука на голых ветках оставались. Так бы и бежал, пока не упал замертво, да дорогу ему старушка перегородила. Пригляделся – чудо чудное, бабка его, Лукерья, которая, почитай, годков с десяток сырую землю косточками своими грела. От

такой встречи захолодило в голове, упал парень под высоким дубом, зарылся в листву палую, зарыдал. А старуха подошла, руками шершавыми по голове гладит, успокаивает:

– Не пришло твоё время, милый. Силушку в кулак собери да езжай по батькиному велению. Дурные мысли из головушки выветри.

– Не мил мне свет без Федосеюшки. Как вспомню её, будто связанный. И как мне жить, зная, что батькины руки её, будто Матрёну, похлопывать станут?

– Эх, сердечный, знаю печалюшку твою, гони злое. Не просто мне было свиданьице с тобой выпросить, уберечь хочу. Время для тебя настало трудное, помни, что бы ни случилось, душу свою береги. По земельке ходить трудно, много соблазнов, но ни один из них не стоит души искалеченной.

– Душа... Да что мне душа без Федосеюшки? Захочу – дьяволу продам, только бы рядом была. Помнишь, рассказывала мне в детстве о Фармазоне?

– Что ты, что ты, милый, и имени его не упоминай. Грех был, рассказала тебе, мальцу, да ты забудь. Коли не послушаешь, большая беда тебя ждёт.

– Беда? Свадьба батьки с Федосеюшкой – беда, – скрипнул зубами Гришка.

Глядь, а вместо старухи пень трухлявый.

На дворе суетились, каждый своей работой занимался. Акимовна с Матрёной то и дело сновали между кладовой и ледником, барыне разносолы готовили. Мишка с кучером барским валёк с постромками крепили, Васька по двору сновал, на худо лежащее хозяйское добро глаз косил. Вошёл Гришка в дом – будто бы и не было разговора с отцом, будто не жёг в груди огонь гневливый. А отца-то и нет – к его любушке с подношениями отправился. И помещицу не постеснялся оставить, знать, сильно привязала Федосеюшка. Мысль эта только прыти добавила, бросился в свою каморку, открыл сундук с пожитками нехитрыми, где под исподним припрятан был портрет его, Гришкин. В прошлом году загостился у них художник один, что в соседнем уезде дом купеческий расписывал, да прокутил весь барыш, а платить нечем. Решил тогда Терентий Кузьмич хоть портретами с него плату стребовать, мол, какая-никакая отрада, да и солидности добавляет, постояльцам трепет внушает. Свою личность велел в главной горнице повесить, а Гришкину образину спрятали в сундуки до поры.

«Вот и пригодился портретец», – думал парень, заворачивая его в старую холстину. Присел к окошку, второпях составил грамоту – некогда над слогом размышлять, смеркается, и вон из опостылевшего дома.

А в поле трава потемнела, пожухла, будто лик пожилой крестьянки. Журавлиный клин над головой стонет-плачет: «Воротись, воротись». Покружили да отправились в своё птичье путешествие. Присел Гришка под берёзкой, что белела одиноко у самого края. Посидел, подумал, что он так же одинок, как это деревце, что беззащитен под ветрами, стужами, пред подлостью человечьей. И нет у него ничего, даже воли, разве что душа осталась. Только зачем она ему больная, рваная, зачем огонь этот в груди? Пусть уж лучше стылость январская.

Как стемнело, пошёл он дальше в пустое поле, дальше от езженных дорог, туда, где хозяйствует холодный сырой ветер. Долго шёл, всё думал. Остановился лишь, как споткнулся о камень, больно ударив ногу. И боль все сомнения рассеяла. Вскочил Гришка на камень, раскрыл руки и закричал со всей мочи:

– Фармазон! Фармазон, отзовись, я пришёл душу свою продать!

Вдруг налетела буря, рвёт чахлые кусты, в столбы скручивает. Загудела земля, застонала. На миг ослеп и оглох парень, а когда очнулся, перед ним чудище двухметрового роста. Под кулями-веками горели красным пламенем глаза. Нос невероятной толщины сужался до ниточки и на самом кончике превращался в свиной пятак, беспрестанно раскачивающийся из стороны в сторону. Рот, словно перестоявшаяся квашня, надувался огромными пузырями, расплзался по синеватому лицу.

– Звал меня? – прошипел-прошептал Фармазон.

- Да, дело есть к твоей милости. Есть у меня товар, к которому ты интерес имеешь.
  - А за иным меня в гости не зовут. Вижу, приготовился справно, грамотку принес и портрет в холстине прячешь. Ты мои условия знаешь, а что от меня хочешь?
  - Хочу Федосеюшку в жёны.
  - А как же отец?
  - А отец пусть в сторонку отойдёт, не мешает. Любим мы друг друга.
- Фармазон лишь усмехнулся.
- А богатство как? Неужели не хочешь богатства? На что жить-то с молодой женой будете?
  - Да никакого особого богатства мне не нужно, лишь бы на жизнь хватало.
  - Ну что ж, будь по-твоему, – бес протянул Григорию булавку, – коли́ левый мизинец да расписывайся в грамотке своей.
  - И читать не будешь? – удивился парень.
  - Так я её ещё до написания прочёл. Расписывайся да давай портрет.
- Гришка торопился, боялся передумать. Имя нацарапал криво, протянул бумагу бесу. Фармазон рассматривал творение художника.
- Смотри, теперь наш договор крепко-накрепко повязан, – сказал он, возвращая портрет.
  - На стене повесить не забудь.



Шестой год хозяйствовал Григорий Терентьевич, шестой год прирастал богатством. Аккурат с того дня, как батюшку его, уже холодного, привезли на дрогах. Сразу три трупа в Волошковом овраге, в трёх верстах от постоялого двора, обнаружили крестьяне в тот злополучный день. Старуха-помещица Ольга Порфирьевна была задушена своей же шалью. Над её воспитанницей Софушкой сначала надругались, а затем так же задушили шейным платком. Труп хозяина постоялого двора с перерезанным горлом находился поодаль, шагах в тридцати. Тарантас помещицы нашли рядом, в кустах, из всей поклажи исчезла лишь шкатулка с драгоценностями – с ней старуха не расставалась даже в своих путешествиях – да вышитый кошель с неизвестной суммой денег. Григорий Терентьевич до сих пор помнит приезд сыскных чинов, дознание, отнимающее последние силы, и наконец скромные похороны. Васька, пропавший той же ночью, был объявлен в розыск. Решили чины, что в тот день Терентий Кузьмич догадался о Васькином желании старую помещицу ограбить и отправился вслед за уехавшей Ольгой Порфирьевной, но, видно, не успел. Застав разбойника над трупами, дворник набросился на него и был убит сбежавшим впоследствии слугой. Ваську так и не нашли.

Шесть лет минуло с той поры, а Григорий Терентьевич до сих пор помнит, как сразу после похорон явился к родителям Федосеюшки с предложением отдать ему девицу за крупный

выкуп, благо сокровища, до поры сокрытые в сундуках отца, позволяли. Не в жёны брал, для забавы – не мог простить сговор с отцом да и венчаться не желал. Родители посокрушались, а девку всё же продали. С тех пор много воды утекло. От былой страсти и следа не осталось, бродит теперь Федоска по двору тенью, осунулась, состарилась. Теперь уж не берёт её Григорий Терентьич в свою опочивальню – новая забавушка в доме хозяйствует, молодая бойкая черноокая Грунечка. А Федоску всё ж не гонит, одна она как напоминание о прежней жизни, о годах молодых, когда сердце иначе билось.

Спервоначально, как батьку схоронил, бросился Григорий Терентьич в разгул, навёл полный дом приятелей-однодневок да девиц беспутных. Федосушка молчала, лишь бросала на хозяина взгляд, полный смертельной тоски. Но Гришка с той ночи, как грамотку подписал, лют стал, безжалостен, будто бронёй сердце закрыл. Метался молодой хозяин, в бутылке, ласках продажных да речах льстивых себя искал. Но, видно, не помогло.

Тогда в коммерцию ударился. Прикупил Григорий Терентьич лавок на ярмарке, торговлей занялся да так успешно, что деньги к рукам сами липли. Расстроил двор, хоромы купеческие завёл, в самом виду, вместо божницы, портрет повесил, тот самый, что когда-то брал с собой в чисто поле. И удивительное дело, портрет этот ему стал вроде семьи, с ним он разговоры долгие вёл, закрывшись от чужих глаз, ему рассказывал о планах, ждал совета. И чудилось, что юноша на портрете отвечает, если не нравится что, хмурит брови, а коль одобряет, светится улыбкой.

И чем больше капитала в руках молодых, тем тоскливее лицо хозяина. Только и радости осталось купцу – с портретом поговорить. Остальное будто кануло. Всё чаще оставался он в той комнате, всё реже выходил из неё. Настало время, когда и лавки свои забросил. Оброс, одичал, забывал про еду и сон. А однажды целую неделю за запором просидел. Тут уж Федосеюшка не выдержала, попросила слугу, сломали дверь, а Григорий Терентьич не узнаёт никого – сидит на полу, портрет в руках держит. Хотели за доктором послать, да вырвался он и убежал как был в домашнем халате с портретом в руках. Трое суток искали, но так и не нашли.

Федосеюшка отправилась по богомольям, прибилась к странникам да ходила по миру. В одном из монастырей услышала она про человека Божьего, что поселился на острове и в одиночку Храм строит. Говорили о нём как о человеке редкой праведности, и решила Федосеюшка разыскать отшельника, помочь ему в трудах, авось душа хоть толику тоски сбросит. Добралась до реки к вечеру. Холодный ветер гнал кудряшки волн, присыпанных первой жёлтой листвой. В тот миг как разглядела она остров, закатное солнце выпорхнуло из-за сизых осенних туч, осветив добротный сруб, возвышающийся над поверхностью реки. И почудилось Федосеюшке, что Храм этот недостроенный лучами до самого неба достает. И от этого столба света отделилась вдруг фигура. Глядит Федосеюшка и глазам не верит: Гришка это, молодой, прежний, только лицо будто обожжено.

До самого утра говорили. Рассказал Григорий, как выменял её у Фармазона на душу, да только без души и любви не стало. Как жил-не жил все эти годы, как выпросил назад вместилище греха и света. В ту ночь побежал он в поле, стал звать беса, просить о пощаде. Не сразу явился Фармазон, а лишь как посулил Гришка капиталы, что нажиты, на милостыню раздать. Пришлось бесу смириться, взял он портрет из рук безумца да выстрелил в него. С тех пор лицо и покалечено печатью дьявольской. Небольшая расплата за избавление от греха тяжкого, за возвращение души. За жизнь в любви, без страхов – все страхи в нём тем выстрелом убило.

А к весне достроили они свой Храм да и обвенчались в нём.

## Похороны ведьмака

Старый Игнат отходил. Третьи сутки не вставал с лежанки – закусывал край поддёлки, которой заботливо укрывали сыновья, заходил в кашле. Временами из впалой груди вырвался то ли крик, то ли рычание.

– Совсем плох батька-то, – всхлипывал младший из братьев, Касьян.

– Тю, пустомеля, может, ещё встанет, – старший Наум от усталости к сумеркам ног не чуял – хозяйство крепкое, догляда требует.

– Сыны, сыны, – позвал отец слабым голосом.

– Что, батька, водички али взвару? – Касьян уже бежал до сенцов с кружкой.

– Подойдите оба, – прошептал умирающий.

В красном свете закатного солнца лицо Игната казалось багровым.

– Помру я скоро, – старик зашёлся в долгом кашле.

– Может, обойдётся, батька, – всхлипнул младший.

– Не перебивай, знаю, что говорю. Пришла пора исполнить последний зарок. В деревне не любят меня, не хочу в Уварове лежать. Схороните меня в Хмаре, завтра же поутру поезжай, Наум, сговорись о месте и обо всём, что требуется. Могила пусть будет к вечеру готова. Но это не всё. К могилке, как срок придёт, пусть везет меня Голыб.

– Батька, да как же это? Прощка Голыб – беднота деревенская, не нам чета, что люди скажут? Да и враждуете вы, сколько себя помню, – Игнат даже поперхнулся.

– Ишь ты, ишь ты, разошёлся. Командовать будешь после похорон, а пока изволь исполнять. Не то, – глаза старика сверкнули недобрым блеском, – и с того света достану.

\* \* \*

Тяжки Прошкины думки, ох, и тяжки. Старшую дочку сосватали, а радости нет. На Покров и свадебку затеяли, надо приданое готовить, а в избе ни холстинки лишней. Бедно живут Голыби. Вроде и в работе споры, а только достаток в окошко глянет, беда уж за порог. Не успели отсеяться, кобылка сдохла. А как крестьянину без лошади? И без того в доме одни бабы, Глашка его только девок и рожает. И на заработки не уйти, не оставить домочадцев без пригляда, и помощи ждать неоткуда.

Не успел о беде подумать, она тут как тут – Наум калитку отворяет.

– Незванный гость пожаловал. С какой нуждой, соседушка?

– Батька отходит.

– Давно пора, черти уже заждались.

– Вот за что ты, Прощка, отца моего честишь? Со всеми он в ладу жил, только ты, сосед, проклятия шлешь.

– Так все знают, что ведьмак твой батька. Знают, да боятся. А у меня с нечистыми разговор короткий, – Голыб перекрестился.

– У меня до тебя дело есть.

– Нет у меня дел с ведьмаковскими отпрысками.

– Зря ты так. Батька наказал, чтобы ты его гроб в Хмару отвёз. Мы тебе сто рубликов серебром отсчитаем.

– Иди, иди, пока поленом не отходил. Ишь что удумали, ведьмака везти! Разговору быть не может! – Прощка вытолкал соседа и калитку захлопнул.

А в доме Глашка сундук свой перебирает, слёзы тайком утирает.

– Стыдно-то как, Прошенька, девку снарядить не можем.

- До Покрова время есть, даст Бог, разрешится как-нибудь.
- Да как разрешится-то, разве клад найдем.
- Ну, не плачь, лучше вечерять собери, пораньше спать ляжем.

Намаялся за день Прошка, а сон не идёт, тревога сердце гложет. Вышел во двор, присел на поленнице. Тихо, будто и живых в деревне не осталось, только ветерок калиткой постукивает. Поднялся Голыб калитку покрепче затворить, а то уже не ветерок, ураган, с ног валит, шуршит, треплет крыши соломенные, деревья до земли гнёт, гудит, будто скоморох на ярмарке. И собаки ветру вторят, такой вой подняли – жуть. За ними и коровы проснулись сразу во всех дворах, не мычат – стонут. А ветер всё сильнее и сильнее, вот уже и двора не разглядеть, пыльным туманом занавесило.

- Двести рублей, Проша, – прозвучало у самого уха.

Голыб аж подпрыгнул, закрестился часто-часто. Глаза от пыли отёр, видит – Касьян рядом.

- Ты как пробрался, окаянный?
- Дырка у вас в заборе. Двести рублей, Проша, – повторил он. – Отошёл батяня.
- Хоть всего серебром обсыпьте, не повезу. И толковать не о чем. Сами своего ведьмака хороните.
- Так ведь наказ батькин.
- А мне что за нужда, бесовского служки наказы исполнять? Иди прочь.

\* \* \*

К утру стихло всё, будто и не было ночного урагана. Кабы не раскиданные вороха соломы да сломанные ветки, Прошка решил бы, что всё приснилось.

Пока во дворе порядок наводил, кум Захар в калитку стучит.

- Слышал, прибрался ведьмак-то. Всю ночь скотина бесновалась.
- Как не слышать, меня сынки его оповестили. Хоронить наказал не в нашей деревне, а в Хмаре. Меня подражают везти. И после смерти не даёт мне покоя старый чёрт.
- Я за тем и пришёл, батька послал. Иди, говорит, к Голыбу, чую, беду ему Игнат готовит.
- Так я и не поеду.
- Зря, не поедешь – не упокоишь, будет в деревню возвращаться. Надо ехать, а спасись тебе поможем.

\* \* \*

К обеду опять гости в дом, оба брата на пороге.

- Езжай, Проша, триста рубликов положим, только езжай, – Наум мялся у порога.
- Езжай, Проша, пожалей нас, страшно нам батькину волю не исполнить, – вторил Касьян.
- Ну что ж, я готовый, только у меня свои условия есть. Перво-наперво, повезу на ваших лошадях, завтра запряжете пару.
- Согласны, о чём речь.
- Гроб с покойником обвяжите покрепче, верёвок не жалейте, иначе не поеду.
- Сынки ведьмака лишь головами кивают.

Выпроводил Голыб соседей, сам сел лапотки переплетать, как наказали, чтобы пятку с носком спутать. Глашка по избе мечется, уговаривает отказаться. Молчит мужик, знай, руками проворит.

На следующий день долго молился Прошка, а потом, будто решился, обул переплетённые лапти, заткнул за пояс топор и вон из избы.

У соседнего двора вся деревня в сборе, судачат, обсуждают, как сыновья гроб отца веревками обматывают. Заметили Голыба, закрестились, запричитали. А Прошка не оглядывается, подхватил лошадок под уздцы да повёл прочь из деревни. Помнит наказ батьки Захара: на телегу не садиться да всю дорогу молитву творить.

Не успела деревня скрыться за холмами, застонал покойничек, зашевелился, по крышке стучит, а выбраться не может. Прошка быстрее припустил. Шепчет молитвы, а сам прислушивается: показалось ли, будто верёвки лопнули? Вот уже и роща впереди, а за ней Хмара – довести бы. И тут как на грех споткнулся Прошка, упал, да вместо молитвы бранью разразился, а как поднялся, покойник уж во весь рост на телеге стоит.

Спрыгнул Игнат и давай по земле рыскать, следы высматривать. Голыб ждать не стал, помчался к роще во весь дух. Бежит, оглянуться боится. Увидел сосну покрепче – полез, до самой верхушки добрался. А Игнат уже под деревом, рычит, в ствол вцепился, а влезть не может. Прошка за ветки держится, Бога поминает – совсем худо, покойник гнёт сосну, как тростинку. Гнёт и воет: «Слезай, враг мой, слезай. Вместе в загробный мир уйдём». Зажмурился Голыб, страшно смерти в глаза смотреть, и не сразу понял, что дерево трясти перестали. Посмотрел вниз – стоит какой-то странник в одежде незнакомой: сапоги со шпорами, шляпа, сабля из-за пояса торчит.

- Слезай, зачем на дерево забрался?
- Ведьмак убить хочет.
- Нет никакого ведьмака, слезай.

Прошка осмелел, спустился, а сам крестится да на незнакомца поглядывает: вдруг это сосед в новом обличье. А тот лишь усмехается:

- Пойдем, покажешь, где твой ведьмак.

Что за диво: гроб пустой, крышка на дороге валяется, а Игната нигде не видно. Глядь, из-под телеги ноги торчат. Вытащили они колдуна – мертвец мертвецом, лишь желваки устроили пляску на восковом лице. Уложили его обратно в гроб, закрыли, а незнакомец достал саблю да надсёк крест на крышке.

- Езжай, мил человек, больше не встанет.

Захотел Прошка поблагодарить, а незнакомца и след простыл, будто и не было. А только случилось всё, как сказал: до Хмары довёз, сдал священнику да обратно отправился. А на вырученные деньги не только приданое справили, но и скотинкой обзавелись.

## Бука

Мягко поскрипывают выездные сани, периной стелется накатанная зимняя дорога. Кутается Ивашка в новый белёный полушубок, что батька привёз накануне Рождества, подстёгивает лошадёнку, торопится. Вот явится этаким купчиком, по улице промчится – не чета деревенским. А и правда – статен, румян. Не зря вдовая купчиха Пустошеева выделила, не зря.

Сказать по совести, Ивашка Аграфену Петровну избегает, робеет – шутка ли, лавки у купчихи по всему городу, богатые лавки. А дом! Какой дом у Аграфены Петровны! Что мебель, что посуда. Да такой деликатности в их деревне и не видели.

Одно плохо: старовата она для молодца. Старовата да страшна, худа, как эта вот оглобля, а ведь целыми днями только и делает, что чай распивает с приживалками, – чудеса!

Надо бы храбрее – не дело, что купчиха сама к нему жмётся, а Ивашка только мямлит невнятно: «Робею-с, никаких дел с барышнями не имел-с, обхожденья не знаю-с». Пустошеева лишь смеётся да глаз своих рыбих с парня не сводит. Эх, если бы вместо Пустошеевой да Дунюшку в те покои, на перины лебяжьи. Вспомнил Ивашка про Дуню, в жар бросило. Батька, как приезжал, буркнул, будто срезал: «Просватали, слава богу. А ты, пёсий сын, даже думать забудь. Тебе такое счастье в руки плывёт, а через тебя и к нам. Могли ли мечтать?»

Когда год назад Ивашку Плетнёва отец привёз в город к дальнему родственнику, служащему приказчиком у купца Еремеева, сговаривались лишь о скудном жалованье для подспорья многочисленной семьи Плетнёвых. А оно вот как повернулось. Еремеев быстро смекнул, как повыгодней парнишку пристроить можно, а через него и лавочками Пустошеевой управлять по своему усмотрению. Стал он Ивашку в дом Аграфены Петровны с порученьями посылать и не прогадал. Истосковалась вдовушка в доме богатом, но пустом. Да и то, какие у бездетной вдовы развлечения? В Храм съездить да со странницами разговоры за чаем вести? А тут – добрый молодец, кровь с молоком.

На костюм Еремеев не поскупился, пошил сюртук из дорогого сукна с шёлковыми лацканами, штучный бархатный жилет, тесьмой обшитый, плисовые шаровары – чем не жених? Смекнул парень, что богатство само в руки плывёт, только разведи пошире, и ты уже не Ивашка, а Иван Сергеевич Плетнёв, владелец лавок, человек состоятельный. А наука купеческая, чай, не труднее сенокоса, знай, барыши подсчитывай и в чулок складывай.

Когда месяц назад Еремеев позвал к себе Ивашку и стал расписывать сытую жизнь, что ждала молодого купчика, парень только головой кивал: пусть думает, что дурачок деревенский, рад стараться волю барскую исполнять. Эх, ему бы только до венца дотянуть, а там и без советчиков обойдётся с такими-то капиталами. Приживалок сразу вон – ишь, повадились, одним чаем с вареньем в расход вводят. А разговоры! На днях сам слышал, как пугали Аграфену Петровну святочницами. Даже деревенские девушки не верят, что в святки по улицам бродят эти самые чудовищные святочницы, завидят девку или бабу молодую, начинают её рвать длинными ногтями, пока совсем в клочья не разорвут. Откупиться, мол, только бусами можно, рассыпь перед ними, они и бросятся подбирать. Вон этих наушниц, всю деликатность в доме изводят.

Едет Ивашка, торопится до темна в отчий дом успеть. Кутается в полушубок, подстёгивает лошадёнку, но короток день зимний, вот уже и сумерки, а впереди пролесок, кружевом веток будто вуалью невестинной манит. Под сводами совсем стемнело, парнишка даже поёжился, озирается, чудится, что за кустами беда поджидает. Лошадёнка вдруг фыркнула и стала. Ивашка вожжи натянул – ни с места. Ожёг кнутом – на дыбы взвилась, но и шагу вперёд не сделала, хоть плачь. Страх липким потом под рубаху пробирается, затылок леденит, будто и нет на голове лисьего треуха. Застыл Ивашка, прислушивается, чудится, будто со всех сторон хруст ближе, ближе, зло подбирается...

Очнулся – сидит кто-то рядом. Повернул голову и вскрикнул. Заросшее, лохматое, борода в сосульках, тулупчик в прорехах, а глаза... Глаза ярче сухого полена в жаркой печи, того и гляди подождёт. «Бука», – догадался парень.

А чудовище между тем тянет крючковатые жилистые синие руки, норовит прямо в рот попасть.

– А скажи-ка, добрый молодец, неужто богатство слаще объятий Дунюшкиных?

Закружилось, заметелило перед глазами, померк свет белый.

«Ишь ты, повезло, что лошадёнка вывезла, совсем замёрз бы», – суетились домашние, отогревая путника. Радоваться бы, что жив остался, да только нет радости в Ивашкином сердце, заледенело, застыло от тоски. Повсюду Бука мерещится, тянет кривой страшный палец и шепчет: «Слаще ли?..»

Как представит Аграфену Петровну, так и вовсе хоть петлю ладить, руки, что обнимали костлявые вдовьи плечи, – под топор.

А хандра между тем всё сильнее грудь сжимает, не дохнуть. Вторую неделю не встаёт Ивашка, с тех самых пор, как привезла лошадёнка сани к родимым воротам. Обессилел, глаз не открывает, боится – куда ни глянет, повсюду палец чудовища и голос скрипучий в ушах.

Старая Лукерья, что слывет на всю округу знатной знахаркой, третью ночь над ним читает, бормочет что-то над головой, смачивает пересохшие губы.

– Беда, – шепчет в сенцах почерневшим от горя родителям. – Бука душой завладел. Эх, кабы знать, что за вопрос ему задал-то, может, тогда и помочь можно.

– Допытаюсь, – решительно шагнул к больному отец.

Ивашка словно музыку какую услышал, будто не в жаркой избе, а на лугу в хороводе, впереди Дунюшка, пшеничная коса атласной лентой перехвачена. Журчит смех девичий ручейком весенним.

– Дунюшка, – шепчут пересохшие губы. – Не слаще, Дунюшка, не слаще...

Бука – мифическое святочное существо, которое задаёт каверзный вопрос путнику. Если путник найдёт правильный ответ, Бука исчезает, если нет, то чудовище преследует всю жизнь. Бука – воплощение страха.

## Хозяин кладбища

Никудышный Фимка парень, никудышный, Марфушка Емелина врать не будет. С тех пор как схоронили родителей, всё зудит и зудит Марфушка: к мужицкому делу совсем несподручный, всё бы ему по лесам и оврагам шастать да с удочкой на берегу прохладиться, а Ванька Емелин, братец его, один лямку тянет. Мол, сами тут управимся, невелика подмога, а Фимку надо в батраки определять, только рот лишний в избе – работы не видно, а ест за семерых. Ванька жену увещевает – не может он единственного братца из дома гнать, зарок матушке перед её кончиной давал и прикрикнет в сердцах, а баба своё гнёт. Совсем житъя не стало от молодой хозяйки.

По весне собрал Ефимка скарб нехитрый в узелок, помолился на дорожку да отправился к помещику работы просить. И не прогадал. Барин молодой больно охоч до забав мужских был, одних собак для охоты целая псарня. А Фимка сызмальства к собакам особый подход имел, только свистнет – самая лютая к нему ластится. А уж науке собачьей лучше него никто обучить не мог. Обрадовался барин такому работнику, положил ему жалованье, харчи из людской. Прижился парень. И то – характером незлобивый, услужливый, до девок не охоч.

До самой Казанской в родной деревне не показывался, а перед Дмитриевской субботой<sup>3</sup> тоска на Фимку напала, захотелось в последнюю родительскую помянуть честь по чести. Отпросился он у барина на несколько дней, завязал жалованье в узелок, а тут как раз в пятницу и оказия подвернулась – Кривой Михайло от барской усадьбы в родную деревню торопился.

Всю дорогу, слушая скрип колёс по первому снегу, думал Фимка о том, как встретит его родной брат со своей Марфушкой. Михайло всё рассказывал и рассказывал о свадьбах деревенских, похоронах, об урожае, о том, как управились с молотью, а Фимка слушал и не слышал – разглядывал следы на припорошённой земле, и чудилось ему, что доедет сейчас, а у ворот его батька встречает, в избе пахнет матушкиными пирогами, и Ванька молодой, неженатый ружьишко для охоты снаряжает. И так сжалось в груди от таких видений, так перехватило дыхание, что парень не выдержал, спрыгнул с телеги, поклонился Михайле и отправился пешком. Идти-то совсем немного оставалось – вот и кладбище деревенское, крестами заросшее. Ноги сами к нему повернули.

Пустынно на узких тропках, мрачно. Это завтра наполнится кладбище деревенскими посетителями с подношениями. Как панихиду отслужат, помянут кто чем может да по домам за столы отправятся – не Радоница, не засидишься. В этом году на Дмитриевскую и снежок лег, значит и Светлая неделя со снегом будет – примета верная.

Могилки родительские в самом дальнем конце темнели крестами, калиточкой на ветру хлопали, будто встречали сына. Подправил Фимка батькин крест, травку летнюю собрал, стряхнул снежок с лавочки, что сам смастерил, присел.

Рано ушли батька с мамкой, рано. Прошлым летом занедужил отец в самый сенокос, но держался, выходил с косой. А как закончили, так и слёг, в Успение схоронили. Матушка потемнела, пожухла осенним листом, тайком слёзы утирала да на Фимку поглядывала, жалела очень. Марфушка после смерти батьки хозяйство к рукам прибирать стала, не скрывая норова – где на матку прикрикнет, где Фимку обругает.

В первую неделю Великого поста слегла и матушка. Не стонала, не плакала, лишь с грустью смотрела на сыновей. Как-то подозвала к себе Ефима и зашептала быстро-быстро, огля-

---

<sup>3</sup> Дмитриевская суббота – последний день поминовения усопших в течение года. Совершается перед днём памяти великомученика Димитрия Солунского, приходящимся на 26 октября (8 ноября). В пятницу хозяйки накрывали стол для умерших родственников, а утром отправлялись на кладбище, где служили панихиду и «угощали» покойников. В домах поминки продолжались до ночи. Хозяйки щедро накрывали столы – считалось, что на столе не может быть меньше двенадцати блюд.

дываясь на дверь, закрывшуюся за снохой: «Уйду я к батьке скоро, Фимушка, нет мне без него жизни, будто свои силы в его могилке зарыла. Не печалься, нам вместе хорошо будет. Вот только за вас, сынков наших, грудь ноет. Ванюшке уж больно строптивая жена досталась. Строптивая да бездетная. Третий год как обвенчались, а всё пустая, видно, не даёт Господь за грехи-то. И тебя обвенчать не успели, молод ты, сынка. Уж коль мы с батькой судьбу твою не справили, так ты сам не плошай. Есть ли девица по сердцу? Что головой качаешь? Не нашёл ещё? Эх, дитяtko. От советов людских не беги, слушай старших, они помогут, на Ваньку надежда плохая – он бабьим умом думает. Живи по божьему закону, по совести, душу свою слушай, она правильный путь подскажет».

На Фоминой неделе отошла и матушка.

Тихо, гулко на кладбище, скрипят замёрзшие деревья – оплакивают обитателей.

Не замечал холода Фимка, не замечал густеющих сумерек, всё рассказывал и рассказывал о том, как работает у барина, о питомцах, что готовит к охоте, о Марусе, помощнице кухарки, что взята в усадьбу по сиротской доле, её голосе робком да очах ясных, что прячет при встрече.

Спора осенняя ночь, вот уже не сумерки, чёрный полог накрыл землю. А парень всё говорил и говорил, не замечая, как с соседней могилы поднялась тёмная тень, подошла к Фимке, опустилась рядом. Только сейчас парень заметил, что не один.

«Хозяин кладбища», – мелькнула догадка.

– Угадал сынок, – утробный голос, казалось, исходил вовсе не от этой фигуры, закутанной в какие-то лохмотья. – Вечер сегодня такой – мы к своим собираемся, а ты, я вижу, не торопишься в тепло.



Парень оглянулся – со всех концов к Хозяину стекались шаткие фигуры. Они переговаривались странными бесцветными голосами.

– Собрались? – Хозяин поднялся во весь свой немалый рост.

- Собрались Кощеюшко. Позволь идти.
- Идите, заждались вас уже.
- А как же ты? Неужели в такой день здесь останешься?
- Не могу, гость у нас, охранять надо, принять честь честью, – Хозяин хлопнул в ладоши и перед глазами Ефима возникли фигуры родителей. Бросился к ним парень, хотел обнять, да только руки сквозь них прошли.
- Не пугайся, родной, телесное тлен, мы другим живы, – матушка встала перед сыном.
- Матушка, батюшка, как я соскучился!
- Знаем, Фимушка, всё о тебе знаем, – услышал он голос отца. – Не только нынешнее, но и грядущее. Не успели мы при жизни благословить, так вот слушай наш зарок. Вымолили мы тебе суженую. Как вернёшься, проси у барина, чтобы сосватал за тебя Марусю, – то судьба твоя, сын. А как детки у вас пойдут, так счастье и старшему братцу будет.
- Батя, матушка...
- Ну, полно, полно, без того много увидел-то, – Хозяин опять хлопнул в ладоши, и внезапно все исчезли, лишь метель пела заунывную песню, да чёрная ворона сидела на кресте.

Хозяин кладбища, Кошей Костяной – мифическое существо, олицетворяющее общий дух покойников. Иногда Хозяином считали самого первого покойника, захороненного на этом кладбище.

## Любовник-волк

Второй год пошёл, как сгинул Захарка, второй год, а Матрёнка каждый вечер за околицу бегаёт. Сядет на поваленное дерево, смотрит немигающим взглядом в темнеющую даль да сухими губами молитву творит. Первое время таилась от старшей снохи Нюшки – уж больно строга, а к исходу второго месяца и таиться перестала. Что ей крики Нюшкины, что укоры её Митяя. Пусть себе. Только эти недолгие минуты и питали надеждой сердце Матрёны: не пропал суженый, ходит где-то по свету, смотрит на пушистые звёзды, может, и её, горемычную, вспоминает. Молится бабонька, а потом вдруг застынет, поднимет голову да начинает просить: «Ветрушко-батюшко, донеси до милого дух мой, пусть согреет его в ночи холодной, нашепчи ему, что жду».

Нюшка над сношеницей посмеивается: «Нашла о ком тужить. Иль счастливой в замужестве была? Все знают, что привязать мужика не сумела, по бабам будто холостой бегал. А и пропал как – от Лушки-солдатки возвращался. Только вот ртов наплодил, вся подмога».

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.